

Огонек



АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ГРИБОЕДОВ

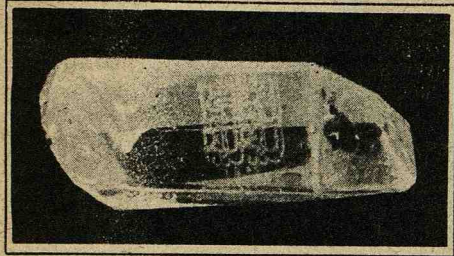
11-го февраля исполняется 100 лет со дня смерти великого писателя, творца „Горе от ума“

Портрет, писанный И. Н. Крамским

МОЛНИЯ ГНЕВА

Статья П. Лепешинского по поводу столетия со дня смерти Грибоедова

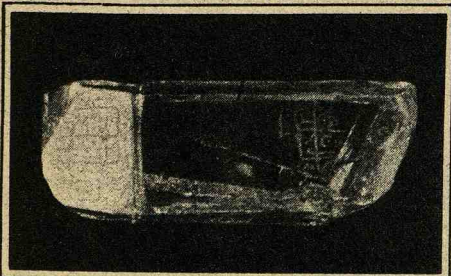
Отзвучали последние аккорды Великой французской революции. Эпоха наполеоновских войн, взбудораживших всевропейское феодальное болото, завершилась заключительным актом драмы на малень-



Знаменитый алмаз „шах“ — 88½ карат. В 1829 г. был подарен персидским принцем Хосров-Мирзой русскому двору в искупление убийства дипломатического посла — знаменитого писателя А. С. Грибоедова

ком кусочке земли, именуемом островом св. Елены. На все „двенадцать языков“, когда-то увлеченных на путь переоценки всех старых ценностей самым „фатовым“ из всех политических игроков мирового масштаба — гениальным в своем роде корсиканцем в треугольной шляпе, — надвинулась на три десятилетия одна из самых мрачных политических реакций, пресловутая меттерниховщина. Что же касается восточной половины Европы, то там, в этой стране воинствующего и отвратительнейшего рабства, давно уже погасли болотные огоньки екатерининского флирта с Дидро и Вольтером, давно уже отцвели бледножелтые чахоточные розы „либерализма“ первых лет царствования Александра I, этого достойного внука своей „просвещенной“ бабушки, от государственных реформ которой стоном стонала вся мужицкая Русь, щедро раздаваемая любовникам „богоподобной“ царицы киргиз-кайсацкие орды; отгребели буафорское брацание мятежными саблями на Сенатской площади, и возглавлявшая „священный Союз“ реставрированных государств Европы николаевская Россия стала полюсом мировой реакции.

И вот на фоне этого кладбищенского молчания — яркая вспышка Грибоедовской сатиры (в его комедии „Горе от ума“) ровно сто лет тому назад внезапно освещает историческую авансцену, на которой суетятся, шмыгают, пишат, дерутся, развратничают, сплетничают, побивают друг перед другом рекорд в хамстве, — словом, по своему „живут“ представители высших паразитирующих классов русского государ-



Знаменитый алмаз „шах“ — сейчас является частью алмазного фонда Республики Советов. Убийство великого писателя А. С. Грибоедова было „искуплено“ персидским правительством тем, что оно поднесло этот алмаз царскому правительству

ства николаевских времен. В связи с этим особенно поучительной была бы попытка реставрировать по блескам сатирического

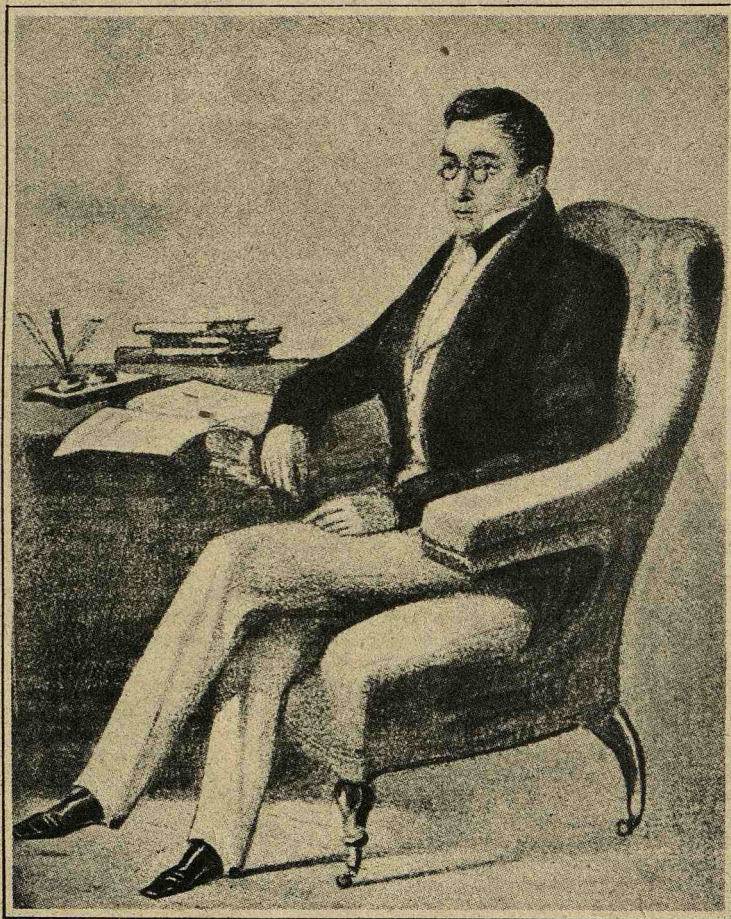
памфлета Грибоедова картину старого режима царской России, того режима, относительно которого уместно было бы по-грибоедовски сказать: „Свежо предание, а верится с трудом“.

Кстати сказать, сам автор комедии вовсе не был новатором и революционером в привычном для нас значении этого слова. Нельзя отрицать того факта, что он был барин, аристократом, не очень-то горячо протестовавшим против крепостничества, этой основной язвы старой дореформенной России, и в смысле проявления своей положительной реформаторской программы не шел далее нескольких, отдающих славнофильством, идей о возврате русской общественной жизни к „святой“ старине, которая, дескать, не знала еще покаznego европеизма с его модами, с его одеждой „по шутовскому образу“ и с его нижегородско-французской речью. Но это обстоятельство ни сколько не умаляет достоинства грибоедовского произведения, отображающего в высшей степени правдиво, смело и остроумно быт и нравы той среды, которую автор комедии очень хорошо знал.

Из каких же элементов складывалась картина общественного строя царской России „доброе старое время“? Визу общественной пирамиды копошатся крепостные рабы: „разные Несторы Недоудьев знатных“, махровые крепостники выменивают своих дворовых слуг на борзых собак, сгоняют на крепостной балет „от матерей, отцов отторженных детей“, обращая их в „зефиры и амуры“, которых затем в случае надобности распродают поодиночке другим рабовладельцам.

Ну, а наверху, в бельэтаже? Какие пышные цветки блестящей цивилизации выросли там, на жирно удобренной мужицким потом, кровью и слезами почве? А вот полюбуйтесь на этих грибоедовских персонажей, на этот „высший свет“, в котором тон дают Фамусовы, нуждающиеся в достаточном количестве овеществленного труда крепостных рабов, чтобы поддерживать свою репутацию хлебосольных московских вельмож, представители тупой военщины — Скалозубы, сплетницы Хрюмины, старухи Хлестовы, кичащиеся чернотой и горбом своих арапок, картежные плуты и воры типа Загорецкого, повсюду принятого и апробированного „в свете“,

наконец, Репетиловы, поглощающие в большом количестве вместе с шампанским князя Григория „радикализм“ Иполита Удушьева, который хотя и не чист на руку, но когда „об честности высокой“ говорит, лицо горит, сам плачет, и мы все рыдаем... Что же касается девиц, этих милых и „благонравных“ созданий, этих всевозможных княжен Зизи и Мими, поглощенных мыслями об атласных тюрлюлю и о баржевых эпарпах, то о них сам Фамусов отзывается довольно-таки не лестно:



Портрет А. С. Грибоедова

Худ. Борель

Словечка в простоте не скажут, все с ужимкой; Французские романы нам поют И верхние выводят нотки, К военным людям так и льнут, А потому, что патриотки.

Таковы те сливки общества, те избранные, те „лучшие“ (слово „аристократия“ буквально означает — господство лучших), которые имеют своей основной жизненной задачей поглощать продукты крепостного труда и на свой манер копить небо. Основные черты этого общества — злорядность, боязнь света, неприязнь к „уму“, т. е. ко всякому критическому осмотру их уклада жизни, сплетничество, лакейство перед более богатыми или чиновными персонами, обезьянья подражательность по части внешних форм европеизма, достойное пресловутой Салтычихи обращение с черными арапками и светлорусными Фильками и Маньками, эти неграми славянского происхождения в трюме крепостнического разбойничьего корабля, их отвратительный паразитизм на теле

народном, их пустословие и их почтительное преклонение перед мнением Марии Алексеевны...

На каких же „китах“ держался весь этот общественный строй? Таких главных „китов“ было три: царское чиновничество, бездушная тулая военщина и православное духовенство. Это последнее не выведено в комедии Грибоедова, но бюрократия и военщина грибоедовской эпохи представлены очень недурно в лице Фамусова и Скалозуба.

Фамусов сам не делает истории, — он не Сперанский, не Мордвинов, и вообще не рулевой государственного корабля. Но зато он один из многих, на которых поконтится вся бюрократическая система, обуславливающая устойчивость и неизбежность царской монархии. Он не начетчик, до иностранной литературы ему нет никакого дела, а от русских книг ему „больно спится“. Подведомственная ему бюрократическая машина работает чисто автоматически. Ведь для составления всевозможных циркуляров и отношений за такими-то номерами у него имеется делец — секретарь Молчалин, будущий такой же Фамусов, а его роль сводится в этом деле лишь к подписыванию бумаг:

„А у меня, — признается он, — что дело, что не дело, — обычай мой такой: подписано, так с плеч долой“.

Этого нехитрого искусства совершенно достаточно, чтобы лозунги, выходящие из кабинетов министров, шли по традиционным каналам через разных Фамусовых в канцелярии губернаторов, а оттуда распространялись дальше — вплоть до „волоостного правления и расправы“, где царская политика довольно-таки чувствительно отзывалась на жалком хозяйстве крепостного раба и на его многострадальной, привыкшей к лозам спине. От Фамусова требуется только одно — быть врагом всякого рода новшеств и почтительно сгибать свой эластичный хребет перед звездами высокого ранга. И он ничуть не скрывает этих своих добродетелей, и даже наоборот — гордится ими, считая себя превосходным чиновником. Идеалом его жизни является „покойник, дядя Максим Петрович“, который когда-то вызвал высочайшую улыбку своим недолгим падением на скользком паркете, а затем стал уже нарочно падать, чтобы сделать себе на этом скоромоществе карьеру. „А? Как по-вашему? По-нашему, смышлен, — захлебывается от восторга достойный племянник своего дяди: — упал он больно, встал здорово“. „Да! Вы, нынешние, — нутка!“ — бросает он зазорный вызов Чацкому, который очень неодобрительно отзывался о тех временах, когда „тот и славился, чья чаще гнулась шея“ и когда „не в войне, а в мире брали лбом, стучали об пол не жалея“. Здесь, кстати сказать, Чацкий немного погрешает против истины (очевидно, предвидя для своего литературного создания цензурные затруднения): выстукивание лбом карьеры не только не было таким явлением „века минувшего“, которое в двадцатых годах XIX столетия будто бы отошло уже в область преданий, а являлось необходимым атрибутом бюрократической динамики и в эпоху Николая I, как и в век Екатерины II. Косвенное осуждение Чацким этой священной для Фамусова традиции приводит старого бюрократа в ужас. Ему начинает казаться, что перед ним стоит грозный карбонарий, не признающий властей, потрясатель основ, осмеливающийся выразить ту страшно вольнодумную мысль, что он, Чацкий, „служить бы рад, прислуживаться тошно!“ Самое естественное, что приходит при этом Фамусову на ум, так это то, что такого невозможного и непереносного в среде верноподданного русского дворянства вольтерьянца, как Чацкий, следует поскорее отдать под суд. Николаевские жандармы там уже как следует разберутся, в какой мере приемлем и терпим этот преступный хулиган излюбленных Фамусовым порядков, отнюдь не мешающих ему, Фамусову,

меланхолично, но не без чувства притворности, философствовать на тему о том, что, мол, странное дело — „еще три часа, а в три дни не сварится“, — не мешающих и ему самому благоденствовать, и для родни быть отцом-благодетелем: „При мне, — хвастается он, — служащие чужие очень редки; все больше сестрины, свояченицы детки“. И он даже не понимает, как это можно „не порадовать родному человеку!“

Ну, хорошо, а что же будет, если Чацкий вдруг зарвется в своем либеральничании до такой степени, что станет действительно посягать на основы строя, — на самодержавие, на крепостничество и т. п. священные принципы, — да не только зарвется, а и учинит, чего доброго, сговор с такими же, как и он, молодцами, да еще увлечет за собою толпу (ведь было же, например, такое дело на Сенатской площади в декабре 1825 г.)? Что же тогда делать? О, не беспокойтесь, на этот предмет у самодержавия есть хорошо вышколенные и вымуштрованные Скалозубы (в кавалерийских или жандармских мундирах — это все равно).

Полковник Скалозуб чувствует себя именинником. Он не нищий („золотой мешок“, по выражению непочтительной к авторитетам горничной Лизы), и по службе преуспевает: „метит в генералы“. Да и как же ему не преуспевать, если он обладает всеми достоинствами хорошего военного служаки своего времени: „Он слова умного не выговорил сроду“ — говорит о нем Софья. Все, что выходит за пределы фрутовой жизни и казарменных интересов, абсолютно не пользуется его вниманием. Москву он может оценить только с точки зрения „дистанций огромного размера“. Из знаменитого монолога Чацкого „А судьи кто?“ — он со свойственным ему тупоумием ничего не понял, и ему только понравилась, что Чацкий, дескать, искусно конулся „предубеждения Москвы к любимцам, к гвардии, к гвардейским, к гвардионцам“, т. е. к его соперникам по служебной карьере.

Когда же ему от слов болтунишки Репетилова померещилось что-то красное, столь же непереносное для него, как красный платок для выгнанного на цирковую арену быка, тогда он в грозном рыке выкладывает всю свою несложную философию:

Избавь. Ученостью меня не обморочить;
Склякой других, а если хочешь,
Я князь Григорий и вам
Фельдфебеля в Вольтеры дам,
Он и три шеренги нас построит,
Он и три шеренги нас построит,
А пикнете, так мягом успокоит“.

Non multum, sed multa! В немногих словах — многое сказано. Фельдфебель в царской России — это ведь великолепнейший эквивалент Вольтера! А в случае какого-нибудь проявления недовольства со стороны опекаемых, достаточно будет простого „пли!“ — и сразу же наступит вождящее кладбищенское успокоение.

С этой послушной, лукаво не мудрствующей, подкупленной золотом, чинами и орденами военничной русская монархия обеспечивала себе „тишину и благоденствие“ в стране. Не только карикатурное выпешкопускательство Репетилова, но и довольно грозный, на первый взгляд революционный жест декабристов не очень-то пугал самодержавие, которое смело могло опираться на плетущих свою бюрократическую сеть вокруг народного тела Фамусовых и на таких ценных собак, как воспитанные на аракеевичине солдафоны Скалозубы.

Но сугубого внимания заслуживает один великолепно очерченный тип грибоедовской комедии, который по своей универсальности и распространенности во все времена и во всех местах земного шара имеет право на признание за ним особого значения. Таков именно Молчалин. Представитель „золотой середины“, располагающий всю свою жизненную тактику „применительно к подлости“ (но выражению Щедрина), обладатель двух неценных

талантов — „умеренности и аккуратности“, классический тип угодника, — Молчалин может быть рассматриваем не только как интересная сценическая антитеза воинствующему и неукротимому Чацкому, не только как необходимый персонаж в грибоедовской композиции, но и как символ „молчаливства“ в общезначимом смысле этого слова, символ той самой Пошлости (не случайно это слово написано здесь с большой буквы), которая преследует по пятам не одного лишь грибоедовского Чацкого, но и всех протестантов, не желающих жвачно-равнодушно примириться с гегелевской „разумной действительностью“ как в сфере житейского быта, так и в области социального уклада жизни. Возьмем для иллюстрации этой мысли — ну, хотя бы, напр., общераспространенное в капиталистическом мире явление, которое известно под кличкой меньшевистского социал-предательства. Разве же это не то же молчаливство, но только раздвинутое в политические рамки мирового масштаба? Разве это не всемертная политическая Пошлость, которая сойдет с исторической сцены лишь тогда, когда в мире не будет уже благоприятных условий для преуспеяния и расцвета пышным цветом среднего, межумного мешанства? Попробуйте соединить марксистско-образованную мысль мелкого буржуа с духом бессмертного грибоедовского Молчалина, — и вы как раз получите сущность того, что называется 2-м Интернационалом. Молчалин строго различает два рода „любви“: дочку своего шефа он любит „по должности“, а хорошенькую румяную горничную Лизу по естественному влечению. И социал-демократ из 2-го Интернационала „по должности“ любит марксову теорию, но настоящую, подлинную симпатию питает к румяной, бойкой капиталистической философии жизни. Молчалин необычайно робок во время свиданий с Софьей, но лезет со своими откровенными поцелуями к Лизе. Герой из 2-го Интернационала тоже чрезвычайно импотентен, когда ему приходится с опущенными глазами стоять перед марксистской идеологией: ни она его не может вдохновить, ни он ее не в состоянии оплодотворить. Зато к буржуазной теории гражданского мира и постепенного вращивания социализма в капитализм, — к теории, отрицающей идею необходимости классовой борьбы, он чувствует неудержимое и страстное влечение. Молчалин — полное олицетворение двух добродетелей: умеренности и аккуратности. Социал-демократ и всякого рода меньшевик не менее Молчалина гордится тем, что он далек от „максимализма“ и политических излишеств „неумеренных“ большевиков, что его чистенький и аккуратный меньшевистский костюмчик не отпугивает от него буржуазных заправил жизни, что он со своей на все пригодной сдержанностью и половинчатостью вполне приемлем и для Пуанкаре, и для Чемберлена, и даже для самого Гинденбурга.

Эту аналогию можно было бы продолжать как угодно далеко, но достаточно и сказанного уже выше. Молчаливство всегда и везде обычно отравляло житейскую или политическую атмосферу, но в наши дни, в наше время все более и более обостряющейся классовой борьбы (накануне последних и решительных битв труда с капиталом), молчаливство особенно бьет в нос, особенно разит крупным смрадом, особенно отвратительно, особенно напрашивается на презрительное к нему отношение. И если бы Грибоедов ничего другого не дал нам, кроме образа Молчалина, то и в этом случае его комедия имела бы право на наше сугубое внимание к ней, как к литературному документу, свидетельствующему о том, что революционная мысль может пробиться даже через толщу все ухудшающейся политической реакции, вроде той, которой характеризуется эпоха Николая I.